

Н. Н. Энгвер

**НЕПОПРАВИМОСТЬ
ЗЛА**

Николай Энгвер
Непоправимость зла

«Юридический центр»

2010

ББК 63.3(2)6

Энгвер Н. Н.

Непоправимость зла / Н. Н. Энгвер — «Юридический центр»,
2010

Настоящая книга – воспоминания Н. Н. Энгвера, доктора экономических наук, профессора Российского нового университета, о своих детских годах, проведенных в мордовских лагерях, куда он был помещен вместе с матерью, и в послевоенном Ижевске.

ББК 63.3(2)6

© Энгвер Н. Н., 2010
© Юридический центр, 2010

Содержание

Предисловие	6
I. Гулаг: Договор щепок с топором	9
Жестокость по-лагерному	13
Лирическое отступление	14
Детский барак	16
Детские праздники	19
Наказание детей в лагере Потьма (трех-четырёхлетки)	22
Побег из лагеря, или Красота виртуального мира	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Н. Н. Энгвер
Непоправимость зла

© Ю. В. Голик, предисловие, 2010

© Н. Н. Энгвер, 2010

© Изд-во «Юридический центр Пресс», 2010

Предисловие

Читатель! Ты взял в руки книгу и предвкушаешь интересное путешествие по ее страницам. Сразу тебя огорчу: не надейся получить удовольствие от этого путешествия. Более того, если у тебя слабые нервы или слабое сердце, то поставь эту книгу на место – это чтение не для слабых. В крайнем случае, пропусти первую сотню страниц.

Дело в том, что это единственная (очень надеюсь, что других и не будет) на сегодня книга о «лагерных детях» и о их жизни в лагерях, куда были помещены их осужденные матери. Многие из них и родились-то в этих самых лагерях.

В русской литературе существует обширнейший пласт произведений на «лагерную» тематику: от «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского до множества сегодняшних «бандитских романов». В 20-х годах прошлого века издавались всевозможного рода воспоминания каторжан или политкаторжан. Затем их издание прекратилось: то ли каторжане отошли в мир иной, то ли политика партии и правительства изменилась. В 60-х годах гремел роман А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в 80-е появился целый ряд интересных произведений – прежде всего, произведения Варлама Шаламова, – которые стали доступны читателям, хотя написаны были намного раньше. Потом такие произведения самых разных авторов пошли косяком. Но все это были книги, написанные взрослыми людьми, которые и в лагеря попадали взрослыми. Детских же воспоминаний нет. Они не дошли до нас не только в силу того, что детская память ненадежна и хрупка (хотя на самом деле человек ничего не забывает в принципе; он просто не может вспомнить), но и потому, что это очень часто негативные, пугающие воспоминания (детские страхи), и память маленького человечка их «сmyвает» с поверхности, утрамбовывая в недоступные глубины сознания. Это делает великая Природа для сохранения физического и психического здоровья растущего человека и, видимо, для чего-то еще, что ведомо только ей самой. Так бывает почти всегда.

Но иногда Природа дает сбой, и человек помнит то, что помнить никак не может или не должен. Один мой хороший знакомый утверждает, что он помнит, как начал ходить, когда ему еще не было и года. Он внимательно смотрел на какую-то «тетю» и решил, что все достаточно просто: надо делать, как она. После этого встал и пошел. Так и ходит до сих пор.

В случае с автором настоящей книги все произошло иначе: он хоть и фрагментарно, но сохранил в памяти многие картинки совсем раннего детства: период 2–3 лет, период, который не сохраняется в памяти почти ни у кого. Это ненароком подтверждает и сам автор: в книге неоднократно упоминается Илюша Шермергорн – такой же маленький узник лагеря в Потьме. Автор встретился с ним через много, много лет и с удивлением увидел, что тот *ничего* не помнит. *Совсем ничего!*

Это хорошо знали организаторы лагерей, позволявшие держать детишек при матерях только до трехлетнего возраста. Потом их отправляли в детские дома «на воле». Но автору и здесь «повезло»: его, как инвалида, оставили при матери до окончания срока ее заключения – пять лет. И произошло нечто: память этого маленького гражданина великой державы («Широка страна моя родная...»), оказавшегося за колючей проволокой еще до своего рождения, стала впитывать в себя, как губка, все картинки повседневной жизни, что видели глаза, все разговоры взрослых и детей, что слышали уши, все запахи, ощущения, а также имена, клички, названия станций и полустанков, улиц, номера домов, даты, а главное – **факты** обыденной жизни и картинки быта того времени.

В самом начале своего повествования автор слегка сетует на то, что не смог прибегнуть к архивам при написании этой работы. На мой взгляд, это хорошо, что она написана именно без использования архивов. Память выдала «на гора» только то, что сочла нужным сохранить, возможно, даже в не совсем «правильной» формулировке. Но память сохранила самое важное.

Для чего и для кого – это совсем другой вопрос. В конце концов, автор прав: «Вся история строится на забытиях, на руинах памяти». Да, это будет не вся история, она будет не полная, но это есть история, увиденная конкретным человеком. И таких людей на самом деле миллионы, а без них никакой истории не может быть совсем.

Во второй части книги мы не найдем лагеря как места существования, но постоянно будем сталкиваться с лагерем как образом жизни и образом мышления. Видимо, память навсегда запечатлела в себе то, что никогда не смоется и всегда будет требовать какого-то своего учета в текущей жизни. На самых последних страницах автор, как смог, объяснил свое видение проблемы выживания для исковерканной жизни исковерканного поколения.

Во второй части мы увидим послевоенную страну глазами растущего мальчика. Это тоже очень важно, ибо восприятие ребенка и восприятие взрослого очень сильно различаются. Те, у кого есть дети и особенно внуки, знают это очень хорошо.

Жизнь человеческая в те годы ничего не стоила (сегодня она стоит не намного больше, но уже совсем по другим причинам). Вчитайтесь, а потом представьте, у кого хватит мужества, как ребенок видит свой «дом» – детский барак: «Между малышей группой и старшей был тамбур – хозяйственный темный коридор, куда зимой выставлялись гробы с умершими детьми, а летом складывали заготовки банных веников». Про этот тамбур он упомянет еще раз: «... там куча картошки лежала навалом между заготовленными заранее гробиками для умерших малышей». Вдумайтесь: гробы с умершими детьми и тут же банные веники, картошка и новые гробики, заготовленные заранее...

В 1991 г. сибирский поэт Роман Солнцев – из нашего союзного депутатского корпуса, подарил мне свою новую книжку. Там было маленькое стихотворение «Свадьба»:

Двоих на этой свадьбе поженили,
кричали, пели и стреляли в пень,
троих убили, в угол положили,
чтоб хоронить как раз на третий день...

Обратите внимание, в этом четверостишии нет ни одной точки, только запятыя: гуляли, кричали, убили, – через три дня похоронят и снова загуляют, но уже на поминках... Жизнь, тем не менее, продолжается, хотя и не для всех, а лишь для тех, кто умудрился выжить, поэтому поэт поставил в конце многоточие. И автор книги, которую вы держите в руках, тоже сумел выжить, несмотря ни на что, даже сумел пережить эксперимент, который ставили над ним лагерные врачи.

В книге можно встретить удивительные наблюдения, подмеченные зорким и любопытным глазом ребенка. Так, описывая свой быт в детском бараке, он сокрушается, что в малышейовом крыле барака были цветы, а в детском бараке цветы на подоконниках были запрещены. Ребенок не знает (и автор не знал этого до того момента, пока я ему не рассказал, в чем здесь дело), что цветы запрещены, так как была жесткая установка создавать максимально оторемленный режим в зонах. Весной, когда просыпалась природа, осужденных – «зэков» – заставляли вытаптывать траву по этой же установке. Вот почему в зонах, но особенно в тюрьмах, привлекает внимание всякая живность, оказавшаяся там. Поскольку домашние животные запрещены, внимание обращается, например, на крыс и мышей. В известном романе Стивена Кинга «Зеленая миля» это описано очень хорошо.

Конечно, дети не были ни в чем виноваты и на них этот запрет распространился чисто автоматически (что касается малышейовой группы, то они совсем несмышлениши, с них и спросить-то нельзя).

Разтюремливание зон началось вместе с хрущевской «оттепелью». Поначалу это встретило глухое противодействие администрации. Еще в середине 60-х годов прошлого века на

страницах газет – особенно в «Известиях» – шли дискуссии о человеке за решеткой. В итоге все-таки возобладал здравый смысл: за решеткой находится именно человек и обращаться с ним надо по-человечески, пусть и с соблюдением тех ограничений, которые предусмотрены законом в рамках отбывания наказания.

Как следует из материалов книги, а это именно *материалы*, которые еще будут исследовать ученые разных специальностей, утверждаю это, ибо сам постоянно прибегаю к подобного рода исследованиям, автор – человек увлекающийся. И он сохранил это качество по сей день. Так, читатель будет часто встречать в тексте упоминание о злом и добром Хаосе, или ему будет попадаться термин «флуктуации» (иногда, на мой взгляд, совсем не к месту). Дело в том, что эти записки писались им на одном дыхании (обратите внимание на даты). Для их написания он прервал свою работу по теории Хаоса и выплеснул на бумагу то, что уже не могло молча существовать в нем. В теории же Хаоса флуктуации играют особую роль. Ведь флуктуации – это случайные, как правило, не прогнозируемые отклонения каких-то величин от их средних, опять же, как правило, давно известных и легко рассчитываемых значений. Именно флуктуацией является то, что автор каким-то чудом выжил после поставленного над ним жестокого эксперимента, хотя и стал калекой. Несмотря ни на что – выучился, стал доктором наук, профессором, Народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР. Это – результат его воли. Он сам сделал себя, вопреки року и обстоятельствам жизни. Вопреки злему Хаосу. Злой Хаос продолжает испытывать его. Сегодня автор прикован к креслу, но продолжает истово работать. Я убежден – это зачем-то нужно и нужно не только ему. Это нужно людям.

Последнее: эта книга будет полезна нынешним сидельцам. У них будет возможность ознакомиться с живым и наглядным примером: как человек ломает ситуацию, не подчиняется ей, а заставляет ее работать на себя. Прочитав, каждый для себя сможет решить: Человек он или «тварь дрожащая».

Читатель, я не желаю тебе приятного чтения. Я желаю тебе мужества и силы духа. Поверь мне: они тебе понадобятся.

Юрий Голик, доктор юридических наук, профессор

I. Гулаг: Договор щепок с топором

Миф как движущая сила истории – весьма почтенная форма ментальности; бывают мифы-идиллии, бывают мифы-химеры, бывают мифы-кошмары. Ни идиллии, ни химеры, ни кошмары в истине не нуждаются. Истина им не нужна. Им нужен враг. Потому что миф – это политическое средство сплачивать людей. Потому что миф – это средство высвобождения энергии людей, а именно – политической энергии.

Еще все помнят, как нас дурманили мифы перестройки и гласности. Итогом этих мифов стал развал великой страны: СССР не распался сам по себе; его сознательно развалили, не считаясь ни с ценой, которую пришлось заплатить народу за его создание, ни с ценой, которую уже пришлось и еще придется заплатить за его развал.

На первой сессии Верховного Совета СССР 1989–1991 гг. мне пришлось выступать на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 7 июля 1989 г. Мы рассматривали вопрос о составе коллегии Прокуратуры СССР. Заслушав выступление Генерального прокурора СССР Александра Яковлевича Сухарева, перешли к обсуждению кандидатур в члены коллегии Прокуратуры Союза ССР. Я записался для выступления по кандидатуре заместителя Генерального прокурора СССР Ивана Павловича Абрамова.

Выступая на утреннем заседании 7 июля 1989 г., я очень волновался, потому что хотел донести до депутатов, что мы приступили к довольно ответственному вопросу – к формированию правоохранительной системы нашего государства. Депутатам надо было напомнить, что в правовом отношении наша страна была одним из самых отсталых государств мира. Поэтому забюрокративание обсуждения кандидатур очень губительно. Необходимо было осознать, что от всех нас требуется настоящая ответственность. Я знал, что мне будет тяжело говорить, и от этого волновался еще сильнее; я хотел положить такой камень на чашу весов, чтобы процесс перестройки нашей правовой системы стал поистине необратимым. Тогда, в зале заседаний Верховного Совета СССР в Кремле я понимал, что необратимость – одна из главных характеристик Хаоса, стрелы времени как в природе нашей Вселенной, так и в ходе нашей истории.

Как экономист и преподаватель политологии, я знал завет Ленина, основу практики и теории революций: **Хаоса бояться не надо**; крушение благополучной жизни, к которой люди привыкли в годы застоя, не исчерпывает полностью содержание динамического Хаоса. Кроме бед и отчаяния, любой Хаос несет в себе новые возможности и новые стратегии, а значит – и новые надежды. Много позже, уже в 2006 г., когда я рассказывал об этом Ю. В. Голику, доктору юридических наук, профессору, такому же депутату Верховного Совета СССР 1989–1991 гг., как и я, он дополнил меня: не только новые надежды, но и новых **людей**.

Это очень важное свойство – выдвижение «новых людей» – дает Хаосу основную энергию для порождения и становления новых структур. Сейчас уже осталось очень мало людей, которые реально понимают, чем была наша учеба и наша жизнь в тот период, когда у власти оказался М. С. Горбачев.

Тоталитарная каторга ума – вот что такое наша жизнь и наша учеба. Характеристика «каторга» очень точная – особенно крепко прилепляется к тем, кто был связан с общественными науками и должен был служить партии, т. е. КПСС, на идеологическом «фронте». Со времен Ф. М. Достоевского нам хорошо известно, что наказание каторжным трудом связано не с его физической непосильностью для человека, а с его совершенной и абсолютной бессмысленностью. Точным образом для выражения «каторжный труд» является миф о Сизифе. Каторга – это сизифов труд. Работа пропагандиста и агитатора той эпохи – после XIX съезда, после XX съезда, и после всех съездов, которые предшествовали **XIX партконференции, с которой и началась идеологическая перестройка по-настоящему, – это и была каторга, настоящая каторга для ума.**

«Новые люди», которые взяли на свои плечи Хаос перестройки и не дали стране вернуться вспять к эпохе Хрущевского и Брежневского безвременья, это были те люди, которые не побоялись, вернее, пересилили в себе страх перед железобетонной тупостью программы КПСС, которая торжественно провозгласила на весь мир, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Но теперь, 17 лет спустя, я доволен, что мне не хватило благоразумия понять, что запускать Хаос, не просчитав его близких и дальних последствий, очень опасно.

Поскольку Иван Павлович Абрамов занимал особое место в коллегии Прокуратуры СССР и радел о восстановлении доброго имени реабилитированных сограждан, я хотел поднять вопрос, который в нашей публицистике того времени по-настоящему не ставился ни в государственных, ни в партийных документах; это был вопрос о детях, рожденных в ГУЛАГе, о детях, рожденных в наших лагерях, в Потье и в других. Потому что эти дети от рождения начинали там «тянуть» свой срок, и их правовое положение представлялось, с точки зрения юриспруденции, очень неясным.

Конечно, депутаты Верховного Совета 1989–1991 гг. знали, что за соблюдением законности должны следить Генеральный прокурор и коллегия Прокуратуры СССР. Но я сам родился в лагере в Потье Зубово-Полянского района Мордовской АССР, и клеймо «лагерника» сопровождало меня всю жизнь, даже в той тяжелой предвыборной борьбе, которую пришлось вести в округе. И раздавались распоряжения, чтобы этот «лагерник» не появлялся на страницах газет; это удалось преодолеть. Но ведь кроме меня там были еще дети. И они тоже выросли, и кто знает, как это отражается на их судьбе, когда решаются вопросы бытовые и профессиональные? Как сказались запреты, которых официально нет, но которые на деле существуют? Ивану Павловичу тоже этими вопросами пришлось заниматься с правовых позиций.

Лагерь в Потье был особый – для жен репрессированных чекистов, что тоже не облегчало положение, а затрудняло. Рассуждают обыватели так: вы заварили кашу, так вам и надо! В бытовом сознании именно такой стереотип крутится. Я очень понимаю Владимира Солоухина, моего любимого поэта, который написал стихотворение о волках:

Мы волки.
И нас, по сравнению с собаками —
мало;
Под грохот двустволки
Год от году нас убывало,
Мы, как на расстреле,
Ложились на землю без стога,
Но мы уцелели,
Хотя и стоим вне закона.
Мы – волки, нас мало,
Нас, можно сказать, единицы,
Мы – те же собаки,
Но мы не хотели смириться
Вам – блюдо похлебки
В январские лютые стужи,
А нас окружают флажки роковые
Все туже
Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем!
Всех больше на свете
Мы – волки, собак ненавидим.

Это стихотворение В. Солоухина крутилось у меня в голове, когда, выступая 7-го июля на заседании палат Верховного Совета СССР я упомянул его. Владимир Солоухин отказался подписывать обращение о создании «Мемориала». Я тоже отказался это сделать. А когда меня спрашивали: «За что? И почему?» – я отвечал, что жертвы, которыми озабочен «Мемориал», сами еще не смыли со своих рук кровь гражданской войны, кровь убитых священников, белых офицеров, заложников-«баржевиков». За неправду гибели жертв Гражданской войны и неправду осужденных «клиентов» «Мемориала» расплачивались своими судьбами мы, лагерные дети, рожденные «там».

Напоминая депутатам, что прокуратура должна быть на стороне закона и следить за соблюдением закона, я понимал, что для многих депутатов это пустые, холодные слова.

Но продолжал спрашивать: какого закона? Ведь у нас был Закон о расстреле 12-летних детей за сбор колосков. Сына Зорге, напомнил я депутатам, расстреляли... А прокуратура строго следила за соблюдением этого Закона. Именно поэтому, мы, новые законодатели, должны решать, как оценить все это? Двенадцатилетнего сына Зорге расстреляли... 12 лет дали Чурбанову. Именно так выглядит динамика нашей социальной справедливости. Легко относиться к этим вопросам безнравственно. Или же надо признать полный провал Божьего проекта о человеке, что, кстати сказать, задолго до меня сделал в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевский?

В том же выступлении я сказал, что нравственность должна быть выше закона: закон на втором месте после нравственности, а политическая целесообразность – на третьем месте, после закона. Вся иерархия гуманитарных ценностей, по моим тогдашним представлениям, выглядела так: нравственность – законность – политическая полезность.

У нас нет закона о лагерных детях, напомнил я депутатам. Их правовой статус неизвестен. Это сфера административного произвола.

Наш лагерь, помимо того, что он был такой специфический, был еще и интернациональный. У нас находились, например, голландцы; один из них – Илюша Шермергорн, самый высокий в нашей детской группе – опекал меня все время, чтобы здоровые дети не пиратничали... Китаец Юн Сан... Их какова судьба? Не знаю.

Почему-то эта история имела странное продолжение. Заседания Верховного Совета в 1989 г. транслировали по всесоюзному телевидению. В какой-то день после этого заседания мне позвонила сестра из Ижевска и рассказала, что ее по телефону нашел из Казани тот самый Илюша Шермергорн, она дала ему номер моего телефона в гостинице «Москва», где тогда жила часть союзных депутатов. Я обрадовался, что через столько лет увижу человека, который был моим защитником в детстве.

Но оказалось, радовался я зря: Илюша, приехав в «Москву», ко мне в гостиницу, меня не узнал и ничего не помнил из нашего совместного детства. Он стал профессором химии в Казани, был недоволен тем, что я публично выдал его тайну – «лагерное» детство. Откровенного разговора у нас не получилось, хотя я узнал его и рассказал всякие мелкие эпизоды из нашего детства. Оказалось, что он не помнит никого из наших однолагерников: ни тихого Юн Сана, ни моего главного обидчика Моторина, от которого Илюша защищал меня чаще всего, ни Юру Гармаша – весельчака. Он не мог даже вспомнить, как стояли наши кровати – Илюша спал слева от меня, Юн Сан – справа, а первым в нашем кроватном ряду был Генка Моторин.

С точки зрения герменевтики (гуманитарной), смысл государства состоит в том, чтобы оно подчинило насилие праву, произвол – законности. Смысл закона о лагерных детях должен был бы состоять в том, чтобы они были на законных основаниях обретателями полноты бытия. Этого не понимал ни Хрущев, ненавидевший покойного Сталина, ни Горбачев, затеявший перестройку как разрушение Союза, тогда как разрушать надо было лишь политический режим страны. Закон о детях-лагерниках в той форме, в какой его воплощает в жизнь ельцин-

ская и путинская бюрократия, настоящих мучеников мордовских лагерей, насколько я знаю, не коснулась никаким боком. Поэтому и нужно было развенчать миф о ГУЛАГе.

На самом деле ГУЛАГ – это категорическое, беспощадное и бесповоротное отрицание ценностей равенства. Прогресс в осознании свободы еще, хотя бы как иллюзия, возможен; но прогресс в осознании равенства людей – никогда; потому что

- все равны перед смертью,
- все равны перед Богом,
- все равны перед неодолимой силой рока,
- все равны перед законом.

Процессы последних лет (Ходарковский и др.) показали, что равенства не только нет, но оно и невозможно. Чтобы понять хоть что-то, надо осознать, что флуктуации равенства так же внезапны, как и корреляции. Социальный мир непоправимо хаотичен; в этом и состоит расколдованный мир мифа. Людям не нравится расколдованный миф, а волшебных мифов ни история, ни общество для нас не припасли.

Жестокость по-лагерному

За какие-то детские провинности мы были жестоко наказаны. Наказанные – это дети трех, редко четырех лет, потому что после достижения трехлетнего возраста детей отбирали у родителей и отправляли «на волю», т. е. в детские дома. Там, в детских домах, или, если кому-то повезло – у родственников, они, видимо, теряли воспоминания о жизни в лагере.

Я совершенно не могу вспомнить, в чем мы тогда провинились. Наша воспитательница Б. И. требовала от всех детей беспрекословного подчинения. Но дети не всегда слушаются взрослых. Тогда Б. И. придумала такое наказание: не пускать родителей на свидание с детьми. Поскольку мы все были рождены уже в лагере, после ареста наших матерей, то распоряжение, по замыслу Б. И., заодно должно было уязвить и наших мам.

Это был очень коварный замысел, замысел двойного наказания:

- **детей**, чтобы подчинить их поведение своей воле,
- и **матерей**, от мучений которых Б. И. испытывала садистское наслаждение.

Был солнечный вечер воскресенья, когда матерям нашим давали свидание с детьми. Для усиления «наказательности» своего решения Б. И. надела на всех нас грязные половые тряпки, которыми в бараках моют полы. От тряпок воняло, но это было не страшно.

Горе началось, когда одна за другой в барак входили наши мамы. Б. И. посадила всех детей полукругом в центре барака. Когда мамы открывали двери детского барака, они сразу видели всех нас, и каждая шла к своему ребенку. Это была обычная процедура.

На сей раз все было по-другому. Как только чья-то мама появлялась в проеме двери, Б. И. сразу останавливала ее криком: «Вашему ребенку запрещено свидание с вами за непослушание. Уходите обратно». Пока приходили к другим детям их мамы, я думал, что меня это не касается. Но вот в дверях показалась моя мама. И я пополз к ней. Б. И. не дремала: «Вашему ребенку запрещено свидание с вами за непослушание». Я не слушал ее и полз к маме, но Б. И. силой подхватила меня и посадила на место. Вокруг меня уже плакали трехлетки, которых лишили свидания с мамами, и тогда я горько заплакал навзрыд вместе с ними.

Помню, что мама моя просила у Б. И. разрешения оставить для меня какой-то гостинец – маленький, с палец тряпичный мешочек, в котором мама приносила для меня сахар; она целую неделю ссыпала в этот мешочек каждый день по чайной ложке сахар, который сэкономила специально для меня, сама пила пустой чай, без сахара, и я очень ждал ее прихода.

Б. И. ничего не разрешила моей маме. И я забился в истерике, когда понял, что мама сейчас уйдет и я ее не увижу целую неделю. Вокруг меня уже плакали от такого же горя все дети, которые сидели в полукруге. А Б. И., наслаждаясь своей безнаказанной властью, получала дополнительный кайф от того, что наши мамы были против нее бессильны.

Когда шум от детского рева стал очень громким, пришли охранники и вытолкали наших мам из барака. Ничего более горького и безысходного я в своей жизни не видел и не переживал. Никогда больше, ни в какие трудные минуты я не впадал в такую истерику, так горько не плакал. И только став взрослым, осознал, как тяжело было моей маме видеть своего ребенка, больного мальчика, обернутого полумойными тряпками и быть недопущенной помочь ему, утешить его. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, слезы горькие закипают в глазах, и хочется верить, что Бог есть, и что Он воздаст всем виновным за наши бессильные слезы.

Лирическое отступление

Мой рассказ о детстве и лагерной жизни будет сбивчивым. Это неизбежно. Я пишу не роман, а «мемуары». Что сохранила память и что в ней всплывет более или менее неожиданно и случайно – это тяжкий вопрос для всех, кто пробовал писать мемуары. Но, тем не менее, надо доводить начатое дело до конца.

Плохо то, что у меня нет никакой возможности использовать архивы, да и не уверен я, что наличные архивы хранят полную правду. Даже в летописях самых древних сохраняется не полная правда, а лишь та, которая выгодна историкам или политикам. Так как политические курсы государств меняются довольно прихотливым образом, то и сохраняют эти архивы лишь прихотливую правду. История с «Новой хронологией» очень типична для исторической науки. Здесь трудно ждать помощи даже от герменевтики.

Мои самые первые воспоминания связаны с купанием в корыте с соленой водой. Купала меня мама, по совету врачей, в соленой воде – так в лагере пытались лечить детей от полиомиелита.

Из рассказов мамы я узнал и запомнил, что в нашем лагере была эпидемия полиомиелита. Мама часто рассказывала об этом тем женщинам, которые, выражая ей сочувствие, спрашивали, что случилось с сыном. Мама всем отвечала однообразно: «Вечером бегал здоровый, утром встал и без ноги».

Во время эпидемии полиомиелита заболело десять детей, выжило двое – я и еще один мальчик. Мне было год и 11 месяцев от роду. Остальные умерли. Женщины, товарки моей мамы по лагерю, выражали ей сострадание – теперь всю жизнь будешь с ним маяться. Хорошо тем бабам, у которых дети подошли.

Когда детям исполнялось по три года, их отправляли «на волю», т. е. отбирали от матерей и увозили. Первых из этих «отвозов-увозов» я не помню. Когда началась война, процедура «отвозов» усложнилась.

Наш лагерь шил обмундирование для Красной Армии: гимнастерки и штаны, всякую другую мелочь из обмундирования – подштанники, кальсоны, трусы, майки (это все сверх плана, почему и не всегда попадало в отчеты). Лагерь приносил большую пользу Родине. И люди очень гордились этой пользой. Потому что многие имели трудовое прошлое, пока не попали в ЧСВН (члены семьи врагов народа), пока не стали женами чекистов, женами-домработницами. Этим ЧСВН, как и мою маму, забирали прямо из семьи и отправляли в лагерь, на принудработы.

Когда пришла очередь отправлять «на волю» меня, мама упала в ноги **т. Ляпушиной**, начальнице женского лагеря в Потье, и упростила ее оставить меня вместе с ней. Не знаю почему, но Ляпушина дрогнула и согласилась нарушить обычай. Хромой (после полиомиелита) ребенок был единственной радостью для матери, и Ляпушина, видимо, решила, что мама будет лучше работать, что под угрозой лишения свидания с ребенком ее можно заставить пахать сверх нормы. Я не знаю, как в дальнейшем сложилась судьба Ляпушиной, никогда ее не встречал и никогда более она не интересовала меня. Но я свидетельствую, что моя мама была очень благодарна ей, называла Ляпушину нашей спасительницей и доброй феей.

Я помню как шла отправка «на волю» моих товарищей-врагов Генки Моторина и Вити Циганкова, моих друзей Илюши Шермергорна и Юн Сана. Про маму Вити Циганкова говорили, что она была бандиткой, последней женой Нестора Махно. Сам Витька вечно весь в чирьях, весело смеялся. Маруся Циганкова – мама Витьки – в день отправки пришла – единственная из женщин-зечек – с сухими глазами. Все остальные расплакались, раскисли, подурнели, разлохматились.

На двор детского барака подогнали несколько подвод с конской тягой, т. е. запряженных лошадьми; у лошадей над глазами вились мухи и слепни, они отмахивались от мух и слепней хвостами, трясли гривами. Вошла охрана. Детей стали разлучать с матерями. Дети не плакали. Воспитатели рассказали трехлеткам-четырёхлеткам, что они отправятся в интересную дорогу. Но матери цеплялись за детей, не хотели их отдавать. Тогда охрана силой отбирала ребенка и сажала его на телегу. Бабий вой нарастал постепенно. Женщины собирались в кучу, о чем-то договаривались сквозь слезы. Охрана учуяла неладное. Подводы оцепили, отделив от заключенных плотной цепью. Рита Ивановна, старшая из воспитательниц, которая к этому времени заменила Б. И., говорила начальнику конвоя: «Уезжайте скорее! Женщины скоро сорвутся, не выдержат». Начальник конвоя что-то отвечал ей, но подводы не трогались с места.

Кто-то из женщин истерически крикнул: «Не отпущу!» – и толпа баб бросилась на оцепление. Кто-то рукой прикрыл мне глаза и повернул к себе. По запаху я узнал маму. Она причитала: «Не смотри, сынок! Это нельзя видеть». Послышался свист бичей и скрип колес, телеги тронулись к воротам. Истошный вопль взвился над двором детского барака. Бабы бежали вслед телегам, сдерживаемые цепью охраны. Наконец весь поезд с детьми миновал черту лагеря и ворота замкнулись. Вой стал убывать, выплакивались. «Наконец», – сказала Маруся Циганкова и вытерла сухие глаза платком. С первой телеги ей махал рукой трехлетний Витька, что-то крича. Стал накрапывать дождь – теплый, весенний. Дело было в конце мая 1941 г.

Детский барак

В Потьме, в нашем лагере, детский барак был устроен весьма разумно – он делился на две части: малышова группа – это те, кого нужно было вскармливать молоком, и старшая группа – те, кто мог сам кушать и ходить. Между малышовой группой и старшей был тамбур – хозяйственный темный коридор, куда зимой выставлялись гробы с умершими детьми, а летом складывали заготовки банных веников.

Малышовый барак был разделен на боксы, застекленные прозрачным стеклом, где лежали те женщины, кому предстояло родить, и был еще бокс для заболевших трехлеток, почему-либо задержавшихся с отправкой «на волю». И новорожденных, и больных было мало, поэтому медицинский и обслуживающий персонал держался за свои места, как мог. Новорожденных надо было поить молоком. Иногда это делали сами матери, но чаще давали бутылочки с соской. Зимой, готовя молоко заранее, утром его разогревали, ставя бутылочки в тазики с горячей водой. Кормление малышей происходило утром, рано, так как женщинам-роженицам надо было успеть на работу.

Условием свидания с детьми было выполнение производственных норм. Женщины работали по-ударному. Сбои происходили лишь тогда, когда поступала новая партия арестанток. Женщины, вырванные из семьи, трудно привыкали к работе швей: швейных машин не хватало, все они были разные, часто ломались. Больше всего было машин «Зингер», на них работали самые опытные швеи. Если машина ломалась, продолжали выполнять нормы ручной иглой и наперстками. Новенькие арестантки, живя памятью о «воле», не сразу входили в нормальный лагерный ритм. Чтобы не допустить срыва плановых заданий, администрация ввела особое правило: если кто-то не выполнял норму, всю бригаду лишали свидания с детьми; так как в каждой бригаде было по 1–2 женщины, родивших уже в лагере, то им приходилось работать за новеньких неумех. Разумеется, это вызывало ссоры, женские истерики, придирки и даже драки. Я один раз был свидетелем такой бабской драки: две женщины сначала пинали друг друга под задницу, а потом вцепились друг другу в волосы и повалились на пол. Это было в мамином бараке, и мама поскорей увела меня обратно в детский барак.

Потом новенькие арестантки матерели, привыкали к своей доле и старались как и все, чтобы не подводить друг друга. Если драчливицы не унимались, приходила охрана и растаскивала их по карцерам силой. Карцер был второй главной угрозой для удержания дисциплины.

У меня не сохранилось воспоминаний о времени, когда я был здоровым ребенком. Первые, самые ранние воспоминания о лагерной жизни относятся ко времени, когда меня начали лечить от последствий полиомиелита – детского паралича: мама мыла меня в корыте с подогретой соленой водой, в окно светило солнце и солнечные зайчики, отражаясь и проникая сквозь рябь маленьких волн в корыте, играли на его бортах, а я их пытался ловить ладошкой и от радости смеялся. Почему-то мама в это время начинала плакать и наклонялась ко мне. Слезы у нее были такими же горько-солеными, как вода в корыте, в котором я полоскался.

После купания мама укутывала меня одеялом и усаживала в маленькое детское кресло, а сама садилась обедать со своими товарками-арестантками. У меня на глазах они готовили «мурцовку», особый лагерный суп: в кипяток крошили черный хлеб, нарезали лук и солили. Ели все вместе из одной миски, но разными ложками.

Так как я заболел, когда мне было 1 год и 11 месяцев, то в это время мне уже было, видимо, два года с чем-то.

Самым интересным местом в большой комнате (для ходячих детей) в детском бараке была огромная от пола до потолка печь. Возле нее, уложив детей после ужина на ночь спать, усаживались наши няни и воспитатели. Они рассказывали друг другу случаи из своей жизни

«на воле», свои ожидания: что придет откуда-то уполномоченный, пересмотрит их дела и они выйдут «на волю».

Когда я стал постарше, дежурные няни доверяли мне закрывать заслонку печи, чтобы сохранять тепло в доме. Надо было дожидаться, когда перестанут бегать по уголькам синие огоньки – это признак, что закрывать трубу можно, не боясь угара. До дверцы дымохода, где была чугунная задвижка трубы, достать нелегко – очень высоко. Я придвигал к печке стол, ставил на него стул и таким образом добирался до задвижки дымохода. Няни возвращались из своих барачков, где пили вечерний чай со своими подружками (обычно перед последней ночной поверкой) и хвалили меня за то, что я такой самостоятельный и сам справился со всеми задачами ночного бдения.

Главный вход в детский барачок вел из тамбура в старшую группу. Запасный вход – выход был ориентирован строго на юг; из южных дверей мы попадали во двор детского барачка, где играли после тихого (в лагере говорили «мертвого») часа и перед ужином.

Сразу за детским двором старшей группы, через небольшой пустырь, стоял дом без окон, в котором располагалась мертвецкая. В нее свозили умерших взрослых арестантов. Мертвецкая располагалась в самом углу лагеря. Вдоль южного фаса лагеря, чуть поодаль от мертвецкой, располагалось страшное учреждение, которым пугали старших детей. Это учреждение называлось карцер; очень честное и страшное название, которое сейчас заменили на «шизо» – «штрафной изолятор». По вечерам, перед заходом солнца, солдаты стаскивали в карцер провинившихся арестантов.

Карцер и мертвецкая стояли вдоль южного фаса. Детский барачок одними окнами выходил на восточную ограду зоны, за нами сразу начиналась вспаханная бровка, потом ограда, потом внешняя бровка – ширина бровки, по памяти, метра три, в один прыжок не преодолеешь. Другими окнами, западными, детский барачок выходил во внутренний двор лагеря.

В центре лагеря стояла двухэтажная деревянная «контора» – лагерная администрация и начальство. О нем ничего рассказать не могу, да и не видел я их никогда.

Сразу после мертвецкой и карцера на южном фаса располагались главные лагерные ворота и проходная. Заканчивался южный фас жилым барачком для женщин-швей. За ним, уже вдоль западной ограды располагались клуб, производственные цеха-барачки, жарилка, в которой жаром обрабатывали одежду арестантов, прибывших с воли, спасаясь от блох и вшей. Назначения сооружений вдоль северного фаса я никогда не знал и не интересовался. Помню, что там стояли очень длинные барачки совершенно без окон. Один раз на два летних месяца детей переселили в эти барачки: там ничего не было видно, совсем ничего, а в детском барачке в это время делали текущий ремонт.

По четырем углам зоны – лагеря стояли вышки с охраной. По смене охранников взрослые проверяли часы. Рита Ивановна, наша лучшая воспитательница, старшая над педперсоналом, была уже расконвоирована и жила сразу за бровкой нашей зоны. До нее можно было докричаться голосом. И я по ее просьбе, как только охранник сменялся с поста на угловой вышке, подходил к северной ограде и кричал во весь голос: «Рита Ивановна! Пора на работу»... Это означало, что наступило 8 часов утра. Рита Ивановна выходила на крыльцо своей избы и говорила: «Спасибо, Коля, иду», – и уходила обратно в сени.

У нас, в детском барачке, наступало время завтрака, и к его концу Рита Ивановна появлялась у нас. Это было радостно. Потому что она занималась с нами, придумывала игры и развлечения. Главным развлечением были качели. К северо-востоку от конторы росла куча старых берез, говорили, что их велела посадить еще императрица Екатерина II, когда решила проторить Сибирский тракт. Две из пяти берез были сравнительно молодыми, посажены не очень давно. На эти новые березы прибили гвоздями перекладину, и на веревки подвесили доску, которая и называлась качели. Было весело взлетать вверх, падать вниз и снова взлетать. Это было радостно.

Зимой, конечно, было меньше веселий. Я просто ждал вечера, когда потушат две керосиновые лампы и оставят одну маленькую коптилку на весь барак. Когда дети засыпали, я подбирался поближе к печке и слушал рассказы арестанток про жизнь и события «на воле». Тогда я еще не знал ни слова «герменевтика», ни термина «герменевтический круг», но теперь, на склоне лет, к концу своей бессмысленной, по большому счету, жизни, я понимаю, что в мозгу моем зрел «герменевтический круг»: «свобода власти – власть свободы» и вызревало понятие права, которое на латыни называется «эквитас» – равновесие притязаний и решений по всяческому человеческому распрям.

Наш ГУЛАГ, наша Потьма, снаружи казались страшным местом, и для меня это было непонятно, понимание ужаса ГУЛАГА приходит на воле, и притом очень не сразу, очень постепенно. В старшем отделении детского барака ничего страшного не было; особенно хорошо бывало весной, когда зеленели березы. Иногда в небе над нашими головами летали самолеты. Мы враз задирали головы кверху и кричали, махая руками: «Самолет, самолет, передай моей маме привет». Самолет летел «на волю», а все мамы были с нами, на производстве, расположенном к западной ограде, в специальных бараках: до них было рукой подать, но они были вне нашей воли. Поэтому и передавали привет через общение (визуальное и акустическое) с самолетом; вот это и есть настоящий миф, миф как хранимое заветное предание о сокровенных желаниях, об уповании маленьких сердец обездоленных детей.

Детский барак тянулся вдоль восточной ограды к северу. Сразу за ним, через маленький пустырь находилось самое вожеленное здание – хлеборезка. Ее назначение понятно, и между арестантками шла жесткая конкурентная борьба за назначение в хлеборезку, на подсобные работы.

Следом за хлеборезкой шла сапожная мастерская, где тачали обувь для охраны и тапочки для арестанток. Сапожная мастерская упиралась в северную бровку, к которой я и подходил, когда надо было звать Риту Ивановну на работу.

Вдоль северной ограды, недалеко от бровки, было еще какое-то здание. Я не помню, как оно называлось, кажется «старый клуб», потому что там часто устраивались детские праздники и концерты арестанток; в «новом клубе», который достраивали уже когда мне было около пяти лет, показывали кинофильмы.

Детские праздники

Из теории Хаоса известно, что **события** происходят в точках бифуркации. Главным событием моей жизни – **первым** главным событием – было рождение. Я родился 22 августа 1938 г. в Темниковских лагерях Мордовии – точнее, на станции Потьма Зубово-Полянского района Мордовской АССР.

В ту пору аборт были запрещены, и начальство лагеря строго предупредило арестанток, что если маме моей что-нибудь «помогут сделать», то всем участницам этой «помощи» накинут сроки заключения. Мама моя была арестована как член семьи врага народа (ЧСВН); отца арестовали перед этим за два или три дня, прямо в здании ЦК Компартии Азербайджана. К этому времени мой отец, Энгвер Николай Юрьевич, занимал должность начальника Каспийского пароходства в г. Баку. До этого, согласно моему пониманию поздних маминых рассказов, он работал в транспортном отделе ЗакЧК. Я никогда не видел отца, и не знаю, где он похоронен. Никаких бумаг на этот счет нам никогда на руки не выдавали. Мама делала запросы в разные высшие учреждения, когда сама оказалась на свободе, но всегда (до XX съезда КПСС) получала стандартный ответ: «Жив, здоров, осужден на 20 лет в дальние северные лагеря без права переписки». Мы были принуждены многие годы жить во лжи и безвестности. Но нам удалось выжить, потому что мы были способны жить во лжи. Обретение этой способности – главная трагедия жизни.

Таким образом, я не мог родиться свободным человеком. Я с самого начала был принужден к несвободе. Будь мама в своей воле, она никогда бы не родила меня, ей шел уже 44-й год; в таком возрасте по доброй воле женщины не рожают в христианских странах. Я получился чистокровным продуктом эпохи: я появился на свет не только против своей воли (так все рождаются), но и против воли своих родителей, т. е. по воле судьбы. «Планида моей траектории» встретила с точкой бифуркации моей судьбы. Я родился на горе маме, на горе моей старшей сестре и на горе самому себе. Самослучайно рождены есм. Сейчас я понял, почему лес по дереву не тужит и не плачет. В лесу Бог деревья не уравнил, а на родстве – людей.

Мне шел уже пятый год и я был самым старшим из детей в старшей группе. Шел, если память меня не путает, к концу 1942-й год; уже состоялось успешное окружение немецких войск под Сталинградом. Наши воспитатели во главе с Ритой Ивановной решили порадовать наших мам-арестанток детским праздником. К новому году было решено поставить детский спектакль по сказке «Морозко». Мне выпало играть Деда Мороза. Девочке, которая играла героиню, было чуть больше трех лет, но зимой из лагеря детей не отправляли; и она, как я помню, с ролью справилась. Но сам я был озабочен только своей ролью.

Мне сделали из ваты бороду, очень красивую шапку из марли синего цвета, отделанную ватным околышем. Сшили такой же синий халат, его тоже оторочили ватой – воротник и подол халата. Нас накрасили красным гримом. Палку-костыль, без которой я не мог ходить, обмотали блестящей золотой мишурой.

Сцена вначале являла собой внутренность избы. Девочка сидела за прялкой и пела. Конечно, девочка сама петь не могла. За нее пела больная женщина-арестантка; молодая, очень певучая, с огромной, распухшей от болезни ногой. Ее посадили у окна за декорацией, чтобы из зрительских мест казалось, что поет сама девочка.

Женщина-арестантка чудным голосом пела известную народную песню «Матушка-голубушка, солнышко мое...» Песня так растрогала меня (на репетиции обходились без этой песни), что я от избытка чувств чуть всплакнул, но удержался, потому что в следующем эпизоде был мой выход. Много позже я узнал, что это была песня Александра Львовича Гурилева. Так началось мое знакомство с великой русской поэзией. Дальше девочка шла по зимнему лесу; избу убрали со сцены, оставили декорации деревьев, сугробов и лес, нарисованный на задней

стенке. Все это было сделано руками женщин-арестанток, среди которых были художницы и мастерицы на все руки. Они делали эти декорации после трудовой смены, стараясь хоть как-то сделать детство в лагере более радостным.

Роль Деда Мороза, с красным носом и румяными щеками, состояла в том, чтобы засыпать девочку метелью. Эту метель делали моя мама и еще одна женщина, нарезая бумагу на мелкие клочки-снежинки. Эту метель делали всю ночь, чтобы метели было много, почти пурга. В этом месте вставили стихи «Вот ветер тучи нагоняет, подул, завыл...», которые поручили говорить мне.

Меня научили стучать палкой по земле и призывать метель, и в это время воспитательница брала из коробки «снежинки» и бросала в меня. Из зала воспитательницу не было видно, поэтому зрители – дети и их мамы, а также одинокие зрительницы-арестантки были удивлены, что по моему повелению шла метель. Это был великий трюк, он впечатлил меня очень сильно, и я долгое время спустя, вспоминая эту метель, в душе переживал чувство радости.

Повеление я выражал взмахом руки, метель – конфетти, которые ночью резала мама с товаркой по несчастью, обильно усыпала пол сцены. Краткий миг красоты съел долгий труд бессонной ночи. Но как еще наши мамы могли порадовать нас?

Следующий праздник, который я помню, пришелся на Первое мая. Он потребовал большой подготовки. Маленькие дети – 3–4 лет изображали сцену на тему «...летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод...» и «...дитя, подойди к нам поближе, пока не проснулась мать. Ты песенек много узнаешь, тебя мы научим летать...». Самое трудное для художниц было придумать, как сделать крылья для стрекоз и бабочек, а потом – как надеть их на маленьких девочек и мальчиков.

Выход был найден с потрясающей простотой: контуры крыльев согнули из тонкой проволоки, потом эту проволоку обтянули марлей, а марлю покрасили разноцветными пятнами, которые получали из самых дешевых акварельных красок, сохших где-то в кладовке еще с довоенных времен. Я был поражен такой ловкой изобретательностью и радостно поделился своим удивлением с мамой, которая вместе со всеми другими пришла на праздник для детей нашего лагеря. Мама сказала: «Да эти женщины – художницы – великие рукодельницы. Бери с них пример, когда что-то лепишь из земли (глины почему-то у нас не было) или из влажного песка».

Самым большим детским праздником в Потье была новогодняя елка. У меня смешались в памяти две новогодние елки – утренняя и вечерняя. Теперь не могу различить, были ли они в один день или в разные дни. А дело было так: однажды утром мы просыпаемся, как обычно, няни нас умывают (я уже сам умывался) и ведут в соседнюю комнату, которая была приспособлена под столовую.

Кухня находилась в мальшовом крыле. Поэтому пищу носили оттуда через спальню в нашу столовую. Спальня была в то же время игровой комнатой, кровати стояли вдоль стен, а середина была свободна, скамейки стояли вдоль спинок кроватей; на этих скамейках мы сидели, пока нам объясняли правила будущей игры или проводимого мероприятия. В этот день было что-то необычное: мы уже умылись и ждали завтрака, сидя на скамейке; дверь в столовую почему-то была плотно закрыта. И Рита Ивановна строго пеняла дежурным по кухне, если они забывали закрыть дверь в столовую. Это заинтересовало меня: я пересел на скамейку напротив. Оттуда было видна часть внутренности столовой, когда дверь приоткрывали. Я с интересом ждал, когда понесут следующую порцию еды. И дождался: когда дверь в столовую ненадолго приоткрылась, я вскрикнул от радостного удивления – там стоял какой-то предмет неопишуемой, волшебной красоты; дверь мигом закрылась, но я уже понял, что это украшенная небывалыми игрушками елка.

Рита Ивановна позвала всех завтракать, я подошел к елке и не мог наглядеться на игрушки – скворечники из серебряной бумаги, конькобежцы, шарики стеклянные, флажки,

мишура; это было настоящее волшебство – птички и бабочки, цепи, грибочки, выточенные из дерева мухоморчики с красными шляпками в белый горошек, сосульки стеклянные, медведи с медвежатами, совы и попугаи; бумажные, но очень красивые цветы – ромашки, маки и васильки. От елки пахло морозом и хвойной смолкой. Под елкой стояли дед мороз со снегурочкой и мешком подарков. Но самыми ценными были настоящие съедобные конфеты – бомбочки и бублики, которые висели прямо на елке. Рита Ивановна стала снимать угощенье с елки и раздавать их детям, начиная с самых младших.

Так как я был старше всех, до меня очередь дошла, когда все малыши уже были одарены конфетами и бубликами.

Елку венчала красивая красная звезда, от лучей которой ниспадал на ветви, украшенные белой ватой, серебряный дождь.

Еще более сильное потрясение я испытал, когда увидел вечернюю елку в старом клубе. Нас привели в старый клуб воспитатели. Когда мы разделись и вошли в зал, потрясение прямо обрушилось на меня.

Елка была очень высокой, от пола до потолка. Она вся была закрыта полупрозрачной тканью (может, марлей, а может, и шифоном); через ткань угадывалось богатое убранство. Зал освещали четыре восьмилинейные керосиновые лампы с рефлекторами, поэтому было очень светло, отчего елка выглядела еще загадочнее. Веселье началось, когда сняли с елки ткань, и она открылась во всей своей волшебной красе. Эта красота засияла еще ослепительней, когда на елке зажгли свечи. Электрических гирлянд тогда, в 42-м или 43-м году, не было. Но открытого огня свечей никто не боялся. Такая славная елка была. Особенно, одна стеклянная сосулька – так хороша была, что я решил попросить ее у воспитателей в подарок, но я так мучился этим решением, что в конце концов не осмелился просить. Два раза уже собрал душу в кулак, но все-таки не решился. Уроки Б. И. не прошли даром, я вспомнил горькое и незаслуженное нами наказание прошлых лет и чувство, что если в моей просьбе будет отказано, то весь кошмар повторится снова.

Наказание детей в лагере Потьма (трех-четырёхлетки)

Самым тяжелым наказанием было мучение видеть, как каких-то женщин охранники тащат в карцер. Лиц тащимых женщин не было видно. Наш барак находился не настолько близко к карцеру, чтобы можно было разглядеть, кого именно из женщин-арестанток ведут на правож карцером, но что волокут именно женщину – это можно было разглядеть. Обычно экзекуция проводилась вечером. Летом в это время было еще светло, а зимой – ничего не было видно. Я очень боялся этого часа. Я опасался, что услышу голос моей мамы. Дети научились по крику волочимых различать голоса своих матерей примерно в начале четвертого года жизни. Двухлетние дети на истошные вопли женщин-арестанток, затаскиваемых в карцер, не реагировали, видимо, не осознавая, в чем дело. Но трехлетки и те, кому пошел уже четвертый год, очень начинали бояться. Поэтому при воскресных свиданиях ни о чем мы так не просили, как о том, чтобы мамы хорошо работали и чтобы их ни за какие провинности не отправляли в карцер.

Был еще один выход: если мамам не удавалось избежать наказания карцером, то они тихо шли за конвойными, стараясь не травмировать детей.

Сама процедура водворения «непослушных» женщин-арестанток в карцер выглядела просто: два конвоира брали сопротивляющуюся женщину под руки с двух сторон, разворачивали лицом кверху и волокли в карцер головой вперед; новенькие (они-то и попадали чаще всего в карцер) бились в руках солдат, желая вырваться, сучили ногами, молотя ими землю. Но победа всегда была на стороне охраны. Когда женщину-арестантку запирали в карцере, она еще долго ломилась в дверь, голосила, визжала, умоляла о милосердии, но к полуночи успокаивалась и замолкала.

Администрация иногда пользовалась детьми для устрашения арестанток: в субботу, перед воскресным свиданием с мамами, кого-то вызывала воспитательница (все воспитательницы были из арестанток) и говорила трех-четырёхлетнему ребенку: «Скажи маме, чтобы она работала хорошо, или ее потащат в карцер». Дети очень пугались и начинали плакать. Один раз только Витя Циганков возразил: моя мама всегда хорошо работает и ничего не боится. Это было перед самой отправкой его, Юн Сана, Илюши Шермергорна, Генки Моторина и Юры Гармаша – моих сверстников – в детский дом, «на волю». Я оставался в старшей группе самым старшим. Мне пошел уже пятый год, а всего я продержался в Потьме – лагере (в «Темниковских лагерях») до 1946 г., июня месяца, когда моей старшей сестре разрешили взять меня из лагеря, т. е. почти 6 лет, вернее 5 лет и 7 или 8 месяцев, это как считать.

Другие наказания касались непосредственного воздействия на детей; два из них, особенно неприятные, в моей памяти связаны с авторством Б. И.; это было при переходе от 2 лет к 3 годам. Нас никогда не били и не шлепали воспитательницы. Но от этого наказания были не менее мерзкими. Например, одна няня держала малыша за руки, а другая, предварительно намывив лицо, раздирала с силой глаза, чтобы в них попало мыло. Как мы ни увертывались, ни плакали, ни просили прощения, няни-арестантки были неумолимы. Однажды всю старшую группу подвергли такому наказанию. Детский душераздирающий крик в нашем бараке достиг таких децибел, что ворвалась охрана лагеря и заставила нянь и воспитательниц прекратить экзекуцию. Всполошились наши мамы в производственных бараках, побросали работу и охране еле-еле удалось восстановить швейное производство и успокоить матерей. После этого Б. И. сменили на Риту Ивановну, а саму Б. И. женщины-арестантки окрестили злобной ведьмой и обещали каждая поставить в церкви метровую свечу, когда эта ненавистная Б. И., наконец, сдохнет и перестанет глумиться над детьми.

Ходили слухи, правда, много позже, когда Б. И. уже не было в Потьме, что она была «бестужевкой», т. е. закончила Бестужеские курсы, где получила высшее педагогическое образова-

ние. Я ничего не понимал в этих разговорах о бестужеских курсах и педагогическом образовании, но слышал, как Б. И. огрызалась на упреки женщин-арестанток. Меня ее слова удивили еще тогда, в лагере. Б. И. уверяла слушавших ее женщин, что она таким образом приучает детей к жестокостям жизни, от которых им, детям, все равно никуда не деться; что она учит нас хитрости, когда надо подчиниться силе, чтобы тебя не сломали. «Лучше гнуться, чем ломаться – вот чему я их учу с малолетства, – говорила Б. И. – Они еще спасибо мне скажут, когда вырастут и разберутся, что к чему».

Мне хорошо запомнились эти слова. Я часто вспоминал их, когда в результате гигантской социально-политической флуктуации – перестройки, затеянной А. Н. Яковлевым и М. С. Горбачевым, – оказался в Кремле и заседал в Верховном Совете СССР, и, сидя на заседаниях палат, глядел на хрустальную люстру в Зале заседаний, вспоминал свое лагерное детство и не мог поверить, что все это происходит наяву. И благодарил Б. И. за ее уроки. Посмертно.

Другое наказание, изобретенное Б. И., было страшным только для совсем маленьких детей; оно заключалось в том, что провинившегося двухлетку брали за ноги и опускали очень ненадолго в бочку с водой. Малыш пугался, кричал, пытался сопротивляться, хватаясь руками за края бочки, но тогда его за ноги поднимали снова, а он, малыш, видя свое искаженное ужасом лицо, отраженное в воде, пугался еще больше. Это было наказание ужасом беспомощности и бессилия против произвола взрослых.

С возрастом я понял, как сделать это наказание нестрашным: просто – если я понимал, что его не избежать, то шел к бочке с водой, которая всегда стояла в углу спальни, и сам окунал голову в бездну; сделав это пару раз, я перестал бояться этого наказания, а вот разъедания глаз мылом – очень боялся и долго не мог к нему привыкнуть.

Иногда с воли приходили молодые, злые, неопытные женщины, которые ничего не умели делать – ни шить, ни готовить пищу, ни стирать, ни врачевать детей, и тогда этих несчастных злюк ставили к нам воспитателями. Это было чудовищным наказанием, потому что они прямо-таки наслаждались, издеваясь над нами. Помню – без имени – одну такую франтоватую женщину-арестантку, молодую и злую: она взяла моду хлестать нас розгами, если мы медленно выполняли ее команды. Один раз она так разозлилась на меня, что ударила розгой не по рукам, как обычно, а по лицу, и больно попала в глаз; я заревел, схватился за глаз руками; она испугалась, что повредила мне глаз, стала отдирать руки мои от лица, я ревел еще громче. Наконец пришла женщина-врач и что-то мне закапала в глаза. Эта любительница наводить порядок и послушание с помощью розог, была очень несчастной: она носила матроску с юбкой, а на затылке шелковый черный бант в форме большой бабочки (или пропеллера) и часто беспричинно плакала, видимо, тоскуя о воле и не понимая, как она могла сюда попасть.

Б. И. исчезла из нашей жизни, наши мамы очень радовались этому, но свято место долго не бывает пустым. Настало время частой смены женщин-арестанток, появлялись новые воспитатели, новые няни, новые врачи, которые тоже все были женщинами. К новым людям привыкалось очень трудно; у всех новых – свой норов, свои повадки, свои причуды. Надо было приспособляться к новым требованиям новых людей и к новым порядкам. Не менялись только ночные коптилки в детском бараке.

Побег из лагеря, или Красота виртуального мира

Однажды ночью, после поверки, в наш барак вдруг ввалилась охрана. Дети уже спали. Охрана быстро растолкала дремавшую возле печки няню и стала громко спрашивать про Колю Колесникова.

Коля Колесников был младше меня; золотушный мальчик, раскрашенный зеленкой по всем золотушным болячкам.

Няню подробно расспрашивал о нем начальник караула: когда сегодня заходила мать Коли Колесникова, о чем говорила с сыном, не было ли чего необычного в ее поведении. Няня что-то испуганно отвечала. Потом все ушли, а утром выяснилось, что две женщины-арестантки ушли в побег. Когда всех нас подняли к завтраку, от взрослых мы только и слышали: «Побег, побег...», а что такое «побег», никто из нас не знал.

Вдруг ночная няня сказала, глотая слезы: «Как же так, ведь все равно поймают... куда от них уйдешь? Только в могилу. Она уже на сносях». Только позже я понял, что одна из бежавших женщин-арестанток была беременна. И почему из-за этого надо плакать? И почему из-за этого нельзя уходить в побег? В это время кто-то радостно крикнул, кажется, Генка Моторин: «Смотрите!» И разом все – взрослые и дети – кинулись к окнам. Окна детского барака выходили на восточную ограду, за оградой было хорошо видно караульное помещение, где жил весь наш конвой. Из этого помещения высыпала на крыльцо команда, которой было поручено изловить беглянок. Солдаты бежали неровно, а впереди всех – огромная овчарка. Говорили про нее разное: кто говорил – немецкая овчарка, кто-то поправлял – не немецкая, а кавказская. Солдат, который держал собаку на привязи, не успел надеть телогрейку, она висела у него на плече и он все время поправлял злополучную телогрейку неудобной рукой; удобная рука была занята поводком, который натягивала собака, устремляясь вперед. Из разговоров взрослых мы поняли (я точно понял), что случилось нечто неожиданное: бежали две женщины-арестантки, одна из них была мамой Коли Колесникова, а другая – просто бездетная арестантка (т. е. ее детей в нашем лагере не было).

Между собой няни и воспитатели обсуждали подробности: оказывается, беглянки связали несколько простынь, закинули их на ограду и по простыням перелезли через ограду, не оставляя следов на бровке (вспаханной широкой полосе впереди и за оградой); я не понимал, как это возможно – ограда была высокой – как мне сейчас кажется – выше пяти метров, а тогда казалась еще выше; один конец связки простыней беглянки привязали за барьер, ограждавший бровку, а другой – забросили на ограду. Технологические подробности при нас не обсуждали, да, может быть, и не знали наши няни и воспитатели никаких подробностей.

Но все-таки было удивительно, как они спустились с ограды на «вольную» сторону. Видимо, здесь и случился прокол: беглянки оставили следы на внешней бровке; женщины бежали через западную ограду, от производственных бараков; шла война и наш лагерь работал в три смены, обшивая Красную Армию. Поэтому беглянок не сразу хватились на производстве. А когда поняли, что произошло, ночью погоню высылать почему-то не стали, дождались утра; сформировали «погонную» команду, дали собаке понюхать оставленные несчастными женщинами следы, и начали погоню по всем правилам этого искусства. В погоню ушло человек 12 солдат и собака. К вечеру беглянки были задержаны; усталые, зеленые от ожидания расправы за дерзость. Их нашли, замерзших и продрогших, в картофельной ботве, в десяти километрах от лагеря, как говорили взрослые, обсуждая это событие между собой. Детей они не стеснялись, полагая нас несмышленишками, у которых предстоящая жизнь сотрет из памяти такое малозначительное воспоминание.

Тяжесть положения беглянок усиливалась тем, что мама Коли Колесникова была беременная. Это особенно возмущало женщин-охранниц. Я помню, как старшая по караульному

наряду, чуть не плача, говорила: «Как она могла это сделать?! Совсем не думала о будущем ребенке!»

Нам приказали отлипнуть от окон и постарались занять коллективными играми, вождением хороводов. Я не мог участвовать в хороводах, поэтому жался ближе к взрослым, а они, не замечая меня, продолжали вполголоса обсуждать между собой дерзкий побег беременной женщины и ее товарки.

Внезапно это происшествие возбудило во мне желание тоже совершить побег из лагеря. Я начал обдумывать его, заранее предполагая, какие преграды придется преодолеть.

Я понимал, что перелезть через ограду мне не удастся. Тогда я вспомнил, что подводы, привозившие в лагерь воду, хлеб из пекарни, увозившие на железнодорожную станцию детей и взрослых, освобожденных или переводимых в другие окрестные лагеря, проложили под воротами колею, глубокое углубление, которым пользовались большие лагерные собаки или куры, ходившие на волю и обратно совершенно свободно. Я много раз видел, гуляя в нашем барачном участке, как этим углублением пользовались охранники, когда им нужно было что-то передать своим товарищам, а получать разрешение, идти за ним в центральную контору, чтобы открыть ворота, вызывать охрану для этого, так как при открытых воротах охрана всегда должна была стоять на своих местах, все это было так хлопотно, что легче просунуть малую вещь под воротами. Правда, рядом с воротами был пропускник – помещение, из которого, не входя в коридорчик, можно было открыть дверь, ведущую на волю, но там тоже надо было показывать какие-то справки и разрешения, в общем – опять хлопотно. Поэтому всякие не очень крупные вещи передавали на волю, пользуясь естественным углублением под воротами. Я очень внимательно стал следить, какие вещи передают таким способом, и понял, что смогу сам пролезть в это углубление. Кроме того, при входе на наш дворовый участок тоже нужно было открывать калитку, которая запиралась на простую деревянную вертушку; под этой калиткой образовалось также углубление, как под воротами лагеря; правда, калиточное углубление было меньше воротного, но я уже несколько раз пользовался им, весьма удачно. Это вдохновило мои дальнейшие фантазии насчет побега.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.